

*Макс Неттлау*

**«Исповедь» Бакунина  
царю Николаю I (1851 г.)**

Передо мной лежит полный русский текст т. наз. „Исповеди“ Бакунина царю Николаю I, изд. В. Полонским для „Исторического Архива“ в Государственной типографии, Москва, 1921 г., 92 страницы, Эта книга, насколько мне известно, не переводилась и вывоз ее из России для анархиста и с целью беспристрастного исторического изучения кажется трудным, если не невозможным. Необходим полный перевод и, насколько я знаю, готовится немецкое издание. Наряду с этим была бы полезна исчерпывающая сводка и перевод обрывков, что я и начинаю делать в журналах некоторых стран. Я очень сожалею, что подробное обсуждение длинного текста, основанного на исторической и документальной очевидности, заглохнет в ограниченном кругу читателей „Freedom“-а и истощит их терпение, как не специалистов по истории революции и анархизма. И если в том, что я скажу ниже, я могу показаться некоторым безапелляционным, то это не от самонадеянности и пренебрежения к доказательствам, а от вышеуказанных причин, мешающих подробному историческому разбору предмета этой статьи.

Я с удовольствием отмечаю, что очень немногое в „Исповеди“ поразило или удивило меня, и что мне нечего вычеркнуть из моей защиты в „Humanità Nova“ (написанной в октябре 1921 г.) и в „Freedom“ (декабрь 1921 г.). Эти статьи разбивали клеветы, взведенные на Бакунина статьей в берлинском „Форуме“ экс-анархиста Кибальчича и другими статьями, порожденными предыдущей. С тех пор было напечатано („Bulletin Communiste“, 22 декабря 1921 г.) во-первых, что Кибальчич написал свою статью в ноябре 1920 года, не зная „Исповеди“, основываясь лишь на выводах и устных доводах, — во вторых, что перевод „Форума“ дает искаженный текст — все это выражения друга Кибальчича, коммуниста Бориса Суварина, — и что этот замечательный текст появился даже без ведома Кибальчича, который, месяцев шесть спустя, когда ему дали почувствовать презрение, вызванное его статьей, напечатал правильный текст в „Bulletin Communiste“ 22-го декабря. На этих небрежных и неряшливых произведениях преследователи Бакунина основывали свою травлю, простиравшуюся от итальянских журналов до нью-йоркского „Call“ и переползавшую из одного коммунистического журнала в другой. Но вернемся к предмету, к полному подлинному тексту, в тщательном издании, с отметками на полях императора Николая I, для рассмотрения которого была сделана специальная копия „Исповеди“.

Когда после шести суток, проведенных в революционной буре почти без сна, в продолжении которых он один сохранил ясное сознание и настаивал на борьбе до горького конца, Бакунин был арестован, его собственная судьба была ему безразлична и он ожидал быстрого решения суда. Длинный процесс тогда окончился смертным приговором, замененным пожизненным заключением. Затем все дело возобновилось вторично, на этот раз в ужасных австрийских подземельях. Переправа в Россию, казалось, означала падение еще ниже и всякая надежда была потеряна. И тут случилось неожиданное: в России, с первого

момента, с ним обращаются очень прилично, как с знатным государственным преступником и тогда император потребовал его „Исповедь“.

Подобный поступок был самый великодушный, какой мог исходить от этого гордого тирана; с восставшим подданным он говорил не языком, основанном на монарших или судебных прерогативах, а на притворном равенства перед „Богом“ и личном доверии и благоволении, словом, на том, что характеризует отношения между исповедником и кающимся грешником.

Мы видим из документа, что Бакунин не отверг этого единственного шанса изложить свое дело перед Николаем, который, как ему (Бакунину) было известно, был предубежден против него не только за его несомненные революционные выступления, но и многими наветами и ложью. Один из молодых русских товарищей Бакунина (А. Росс) двадцать лет спустя вспоминает, что Бакунин говорил ему, как под влиянием так сложившихся обстоятельств надежда и желание жить и снова стать свободным овладели им и заставили его с этой минуты готовить свое освобождение; исключительно этому стремлению и подчинялся текст „Исповеди“ и все его поведение в течение десяти долгих лет. Это вытекает из лежащего перед нами документа. Но ясно также из того же источника, что Бакунин решил выиграть свободу достойными средствами. Он мог получить ее в любое время полной выдачей, о чем он никогда не мыслил. Он намеревался провести тирана — хозяина своей судьбы — более тонким способом, умалив свое собственное значение; и в то же время беря на себя полную ответственность за то, что он сделал и когда-либо намеревался сделать. Я удивляюсь, как не видел этого Николай, ибо Бакунин говорит ему именно то, что хочет сказать, часто очень смело, и тонкий налет постоянно допускаемой личной преступности, греха, безумия, раскаяния не должны бы никого обмануть. Не должен также шокировать покорный тон некоторых мест письма, ибо известно, что царь и не посмотрел бы на документ, где бы отсутствовала такая форма. С другой стороны, Бакунин иногда шутит и выставляет в глупом виде царя, например, когда он дает очень интимное описание некоторых известных революционеров, и затем говорит: „Я не говорил бы Вам, Царь, обо всем этом, не называл бы имен этих лиц, если бы не знал, что все они в безопасности в Америке“. В общем он хотел провести царя видимой искренностью, говоря правду, но далеко не всю правду, и проиграл ставку, так как характер Николая оказался мельче, чем он ожидал, именно, в следующем: Бакунин подчеркнул в начале „Исповеди“, что он принимает гуманное предложение царя и скажет правду, но только в том, что касается его лично. Он не нарушит оказанного ему доверия, не будет предателем по отношению к своим друзьям; из полного крушения он вынес в целостности только свою честь и предпочтет быть в глазах царя величайшим преступником, чем низким негодяем.

Николай I, однако, оказался не джентельменом, и написал: „Этим уже он уничтожает всякое доверие. Если он чувствует всю тяжесть своих грехов, то исповедью может считаться лишь *абсолютное, полное* признание, но не *условное*“.

Другими словами, он думал найти кающегося предателя и был разочарован. Вероятно уже по прочтении 2-ой страницы он решил предоставить Бакунина его судьбе, бессрочному одиночному заключению, что и сделал. Хорошо ли упрекать Бакунина в том, что он не предвидел абсолютного ничтожества царя и не воздержался от письма к нему? Я думаю, что он был волен делать то, что он считал лучшим, и что только „unctuous righteousness“ найдет его поступок неправильным.

В зависимости от этого в содержании „Исповеди“ не все одинаково ценно в смысле историческом и биографическом. Местами Бакунин дает живое и смелое описание, как например, когда говорит о первых неделях заграничного революционного энтузиазма после февральской Парижской революции 1848 г., или когда останавливается на отчете о русском нестроении, чиновничьем воровстве — неизбежных при подавляемом общественном мнении. Он тщательно анализирует свой собственный ум и подробно развертывает революционные планы — русской революции и славянского восстания, начавшегося серьезной революцией в Богемии (1849). Ему доставляет удовольствие вновь разрабатывать эти схемы, существовавшие только в его голове, и в взвешивании их шансов. Временами он вспоминает свое настоящее положение и бросает царю несколько слов о грехах, неразумности и прочее, являющимися только подыгрыванием, для поддержания видимости „исповеди“. Но тем, кто знает биографический материал, ясно, с другой стороны, как много вещей он молчаливо обходит, или умалает в значении, чтобы показать их царю в несовершенном виде; короче — он принимает все меры к тому, как мне ясно, чтобы не повредить ни лицам, ни идеям. Он ходатайствует за тех, кто в тюрьме и берет на себя большую часть их вины; он говорит свободно о тех, кто за пределами досягаемости для правительств материка; действительно, его собственное описание „Исповеди“ в письме к Герцену (1860) как произведения в роде *Warheit und Dichtung* (согласно Гётевскому заглавию своей биографии — *Истина и Вымысел*) вполне справедливо.

Те, для кого, как и для нас всех, за исключением товарищей, находящихся сейчас в России, полный текст был недоступен, упирают на тот факт, что Бакунин в 1851 г. не был объявленным анархистом и склонны приписать то, что нам кажется в документе странным, чтобы не сказать отвратительным — его неразвитости в тот период в смысле социализма и анархизма. По-моему, это ошибка. Из документов, его собственных писем начиная с 19-летнего возраста, мы знаем, что он всегда стремился к самому лучшему, к высшей ступени совершенствования как для себя, так и для всех окружающих, любимых им людей, для всего человечества. Слова „Абсолютная свобода и абсолютная любовь — вот наша цель; эмансипация человечества и всего мира — вот наша задача“ — эти слова были написаны им в возрасте 21-го года (10 августа 1836 г.); неважно, что воспитанием и окружающим он был наведен на искание способов осуществить эти стремления сперва в религии, затем в высшей философии, и что

он научился Радикализму и Социализму лишь в 1842 г., вернее, что не ранее 1842 г. окончательно была потрясена его глубокая вера в правильность философии. С этого времени до 1848 г. он имел полную возможность изучать все передовые идеи в Германии, Швейцарии, Бельгии и Франции. Он был в тесном интеллектуальном контакте, часто в близких дружеских отношениях с лучшими из представителей Социализма и Рационализма на материке, как Руге, Herwegh, Вейтлинг, Маркс, Луи Блан, Консидеран, Ламенне, Прудон и многие другие. Следовательно, очевидно он знал все ходы, выходы и крайние границы, которых социализм и анархизм тогда достигли, может быть лучше, чем кто-либо в то время. Единственно чего он не сделал, это не принял определенной стороны, руководящей партии или лица; он не был ни марксистом, ни прудонистом; всякое одностороннее развитие казалось ему несовершенным. По моему мнению, он искал синтеза „абсолютной свободы и абсолютной любви“ (1836), который могут дать объединенный анархизм и социализм и который был руководящей идеей его коллективистического анархизма „sixties“, как и современного анархизма. Он слишком долго был слепым поклонником одной группы идей — идей Фихте, Гегеля, и он не повторял этой ошибки после 1848 г., но с этого времени решал сам для себя и выбирал лучшее. Итак поверить, что в 1851 г. он был неразвит или безразличен в этом отношении значило бы ошибиться.

Что было в то время неразвито более всего — это социалистическая тактика, потому что сами рабочие не двигались; чартистское движение не имело отклика на материке; все ограничивалось несколькими пропагандистскими группами и конспиративными центрами. Этим объясняется, почему свободно обсуждалась тогда идея диктаторства, имевшая в виду прежде всего доброжелательное воспитание, как противоположность реакционной косности и парламентарной бесплодности, так как сами рабочие не двигались. Следовательно Бакунин не был убежденным сторонником власти (authoritarian), так как он употребил бы это как средство за недостатком других; точно также это начальное положение вещей в самом младенчестве движения не может быть аргументом в наши времена, а те, кто употребляют его, как аргумент, допускают, что по их мнению, рабочие, как в 1922, так и в 1848 г. — дети, нуждающиеся в помочах. Но тогда пусть они открыто признаются в этом.

Есть другая причина некрасивых мест „Исповеди“ — это национализм, черствый, грубый национализм. Это заставило Бакунина в 1848 году забыть западную демократию и погрузиться с головой в схемы славянской федерации, требующей войн. Он начал с того, что перенес в эти схемы свои идеи свободы и социальной солидарности, но его идеалистический национализм был бессильен против практического национализма. Отсюда, вразрез, конечно, со своими собственными идеями, так сильно высказываемыми им раньше, одиночество и националистическая злоба и отчаяние за бездействие самих славян заставили его написать воззвание к царю Николаю I, с раскаянием в прошлых грехах,

с просьбой о прощении и с мольбой к царю о защите всех притесняемых славян, о том, чтобы он стал их спасителем и отцом и поднял бы славянское знамя на западе Европы к смущению германцев и всех других угнетателей славян. Он не кончил этого письма и сжег его (июнь-июль 1848 г.). Это показывает, куда логически ведет национализм даже лучших людей; он привел Бакунина, по крайней мере по духу и намерениям, в объятия Николая I; он привел других в 1914 г. в объятия Николая II; и если будет какой-нибудь Николай III, другие, одержимые этим демоном национализма, попадут и в его объятия\*. Не стану больше говорить на эту тему; я чувствую, что бакунинская „Исповедь“ — самый могучий предостерегающий вопль против национализма, который когда-либо раздавался. Он не был свободен от этой националистической крайности, заглушающей его лучшие чувства до 1864 г., когда в нем возбудило надежду *международное рабочее движение*, которое тогда началось.

„Исповедь“ осталась без ответа, хотя она затронула националистические чувства царя, и она означает, повторяю, не недостаток, не предательство Бакунина, а есть логический вывод националистического мировоззрения. Другие ходатайствовали таким образом перед Наполеоном III, Бисмарком, или „человеком на улице“ в Лондоне. Это совершенно аналогично; национализм сильных осуществляется тотчас же как империализм, национализм малых и слабых передается сильнейшему как дополнение и поддерживается им как орудие, если это выгодно для сильнейшего.

Бакунин в конце „Исповеди“ усиленно восставал против мук одиночного заключения, которому он подвергался уже два года, и просил другого наказания, как бы оно ни было строго. Этот на редкость общественный человек, который всегда жил в широких и дружеских кругах, должен был просидеть в одиночной тюрьме пять с половиной долгих лет, пока его здоровье не разрушилось и он был на границе самоубийства. Тогда его старуха мать просила за него царя Александра II: ей было отказано, но князь Горчаков намекнул ей, что царь снизойдет к личной просьбе, написанной самим Бакуниным. Итак, каприз царя ставил перед заключенным альтернативу — безнадежное пребывание в одиночном заключении до смерти, или просьба: он выбрал последнее. Мелочность этого царя характеризуется тем фактом, что Бакунину пришлось употребить в десять раз больше покорных фраз, чем в 1851 году в обращении к внушавшему всем трепет самому Николаю I. Он выдержал эту церемонию и сделал трогательное и памятное описание мук медленной смерти от одиночного заключения (14 февраля 1857 г.).

Пять дней спустя царь написал: „Не вижу другого пути для него, как поселение в Сибири“ и он был сослан в Томск (Западная Сибирь), потом в Иркутск (южная Сибирь, 1859 г.), откуда летом 1861 года он наконец бежал через Японию и Америку в Лондон (декабрь 1862 г.).

Эти заметки должны быть достаточными, чтобы предостеречь товарищей против других статей типа статьи Кибальчича, а также против нежелательного

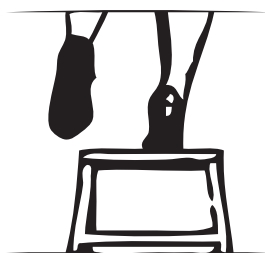
и потрясающего впечатления, которое текст или перевод “Исповеди” 1851 г. и письма к Александру II 1857 г. произведет на читателя, знакомого с позднейшими бакунинскими произведениями и идеями и не изучавшего истории его ранней жизни, известной тем не менее по бесчисленным источникам, хотя об ней очень мало писалось по-английски. Быть справедливым, и рассуждать на основании серьезных исторических данных — вот все, что требуется, и тогда также и эта исповедь встретит полное понимание, как человеческий документ действительности и фантазии, смелости и хитрости — порождение их *середины*, что и не могло быть иначе.

22 марта 1922 г. *М. Неттлау*.

Библиотека Анархизма

Антикопирайт

25 июля 2014



Макс Неттлау

«Исповедь» Бакунина царю Николаю I (1851 г.)

1922

Сохранено 19 июля 2014 года из <http://oldcancer.narod.ru/Atabekian/P/22-89.htm>